

— Когда я умру, когда меня не станет, — только тогда ты поймешь, кто была твоя бабушка! — любила повторять она с той назидательностью, за которой нередко прячется обида заброшенности и непонимания.

— Ты бросил меня! — гневно стучала она об пол тростью для ходьбы, и в этом явно не гневном стуке проявлялась вся её незлобивость, и ещё — давняя, из века девятнадцатого принесённая приверженность, как сама называла, к «сценам»: слезам с прикладыванием к сердцу ладони и картинным обморокам.

В те давние времена, когда она была молода и обворожительна, «сцены», по всей видимости, были ей к лицу и умиляли поклонников. В зрелом возрасте они казались уже смешными. Капризы и упрёки в старости, бывало, доводили моего отца, а потом — и меня, до иступления, и как-то раз, в минутном умопомрачении, я принялся яростно трясти её за плечи и что-то нечленораздельное кричать ей в лицо.

И вот теперь, когда она умерла, мне иногда кажется, что многое сбылось — многое из того, о чём она говорила. Испытывая стыд и запоздалое раскаяние, я смотрю на её фотографии, которые когда-то висели на стенах, и на те, которые отыскивались уже после её смерти: в ящиках стола, в чемоданах, в круглой коробке из лакированной фанеры, где некогда, на переломе веков, хранилась её кружевная шляпка; листаю аттестаты и свидетельства на плотной, пожелтевшей от времени бумаге, с короной над двуглавым орлом, каллиграфически исполненные, с плавным, странным для нынешнего торопливого слуха течением речи: «В удостоверение чего и дан ей, Марии Войтенко, сей аттестат по определению Педагогического Совета Бердичевской женской О.К.Капронович гимназии».

А вот любимая её фотография: юная девушка в кресле вполоборота, кокетливое хорошенькое личико, нежный локоть и волосы до колен — какие волосы! Впрочем, мне больше по душе свадебное фото, где она рядом с молодым военным, моим

дедом, которого я никогда не видел, широкоплечим, высоким, породистым, — сама маленькая и хрупкая, едва достающая ему до плеча. Я поставил эту фотографию в книжный шкаф, к голубым чеховским переплётам, — и всякий раз, возвращаясь к печальным и трогательным рассказам Антона Павловича о любви, об одиночестве, о вечном и безжалостном течении времени, всматриваюсь в родные лица и размышляю о бессмысленности и скоротечности человеческого бытия.

Венчались они за городом, подальше от чужих нескромных глаз, в церкви святого великомученика Димитрия Солунского. Бабушкин дядя, Рудольф Вацек, раздобыл где-то автомобиль и торжественно повёз молодых к венцу. Минуя заиндевелые, спящие тополя, по укатанному январскому снегу они дважды обогнули холм с деревянной церквушкой на макушке. Автомобиль забавно фукал, подпрыгивал и дымил, смеялись и бежали следом, в чаду ватно-чёрных выхлопов, чумазы крестьянские дети. И может быть, молодые даже поцеловались украдкой, — такие юные и счастливые в то подлое, несчастливое время!

— Опомнись, какие поцелуи! — возмутилась она моим фантазиям, а было ей тогда далеко за восемьдесят — возраст, когда, по моим соображениям, уже нет нужды что-либо скрывать. — У меня даже первой брачной ночи не было: скромно поужинали — и ступай, милый, домой! Выставила его, и всё тут.

— Как же так? Какая безжалостная!

— Целую неделю он так и ходил: являлся с работы, мы ужинали, а потом я с ним прощалась. Холодный поцелуй — и иди с Богом! Он молча повиновался, я переводила дух и прятала от него глаза. И вот как-то наведалась к нам тётя Василиса, жена дяди Франца, посмотрела на такую нашу семейную жизнь, возмутилась и эту «идиллию» поломала. А ты — поцелуй в автомобиле!..

И всё-таки, мне кажется, что бабушка лукавила: бывали у неё и влюбленности, и поклонники, и нескромные поцелуи; был

даже свой обрыв — в садах, в конце Ивановской улицы, куда накануне венчания она сбежала прощаться с одним из своих поклонников, безумно влюблённым в неё грузином. Более того, люди, близко знавшие её, рассказывали: бывала ветрена, строила мужчинам глазки, из-за чего не раз спасалась из дома бегством — в ночной сорочке, с распущенными волосами, совсем как в страстном любовном романе конца девятнадцатого века.

И только одного не было о ней сказано: никто и никогда не мог упрекнуть её в измене супружескому долгу — именно в том, что не было редкостью во всякие времена на долгом пути человечества от первородного греха до дней нынешних.

В тридцать восьмом году деда расстреляли по приговору «тройки», незаконному, надуманному, построенному на оговорах, и она осталась одна — с повзрослевшими детьми на руках, с пасекой в саду, с домом на четырёх камнях, построенным дедом для долгой, счастливой жизни.

В оккупацию, чтобы не умереть от голода, мыла в педагогическом институте полы. Однажды, лютой зимой, возвращаясь с работы в тонких резиновых ботах, простудилась и заработала полиартрит: ноги у неё искривились, косточки остро обозначились под жёлтой кожей, она ходила вразвалочку, и, сколько помню, в комнате у неё всегда горько пахло змеиным ядом, который втирала в больные суставы.

Тем не менее бабушка долго оставалась подвижна и непоседлива, любила ходить в гости и принимать гостей в своём доме, и до самой смерти строила молодым мужчинам глазки. Одна из её знакомых, смеясь, вспоминала, как она целовалась с неизвестным на углу Мариинской улицы, — а было ей тогда далеко за шестьдесят лет.

Не было года, чтобы кто-нибудь не сватался к ней, но она так и не вышла замуж во второй раз. Окровавленная сорочка мужа, которую по ошибке вернули после дозволенной следователем передачи, что-то, будто в сломанных ходиках, остановило в ней навсегда.

И тем не менее, она всякий раз, при любых обстоятельствах оставалась женщиной: кокетничала, охотно общалась с мужчинами и ревниво присматривалась к

женщинам — в свои семьдесят, а потом в восемьдесят, и в девяносто лет. Мне кажется, она всегда хотела нравиться людям, её окружавшим, даже — в преклонном возрасте, и прилагала для этого максимум усилий. До сих пор помню остатки её бровей, криво подведённых черным или коричневым карандашом, морковного цвета помаду на губах, душистый смешанный запах пудры и «Красной Москвы», дешёвую брошку на блузке или воротнике закрытого платья.

И это ей, как правило, удавалось. Так, она могла ночь напролёт удерживать нить беседы в купе поезда, и попутчики, молодые офицеры, весьма далёкие от старорежимного этикета, наутро выносили на платформу чемоданы и целовали ей руку; она заговаривала с незнакомыми мужчинами на улице, в магазине, в кинотеатре, и кокетливое общение выходило у неё так естественно и так неразрывно связывалось с её манерами и обликом, что воспринималось всеми должным образом и так, как того хотела она.

И даже когда она умирала, оставаясь трое суток в беспамятстве, — и тогда, в редкие минуты просветления, требовала надеть на неё блузку непременно с длинными рукавами, потому что должен прийти Иван Фёдорович, а находиться в присутствии постороннего мужчины с оголёнными руками приличной женщине не пристало.

Такой я знал её и помнил, и то, о чём рассказывали мне другие, только дополняло уже знакомый образ, вызывало в душе светлую печаль от осознания скоротечности жизни и чувства невосполнимой утраты.

Но как-то на глаза мне попало несколько почтовых открыток начала прошлого века, исписанные большей частью неизвестными мне людьми и в годы, когда бабушка с дедом ещё не ведали друг о друге. Я прочитал эти короткие послания при свете ночника, разбирая мёртвые почерки под увеличительным стеклом, и внезапно понял, что ничего не знаю о жизни родных мне людей, частица крови которых течёт во мне вот уже столько лет. И тогда захотелось мне стать рядом с ними, чтобы вместо фотографического глянца, вместо воображаемой иконы ощутить живое дыхание времени. Ведь жизнь, говорил

себе я, — это не абстрактные годы, не протяжённость между рождением и смертью. Жизнь — это всего лишь мгновения, из которых она состоит. И в каждом мгновении навсегда остаётся всё сущее, всё, что некогда случилось с нами: мимолетный вздох, поцелуй, рдяный закат, полёт шмеля, цветок у дороги, сказанное и услышанное слово...

«Было у меня в гимназии три или четыре приключения, которые навсегда отложились в памяти, — как будто снова услышал я неторопливый её голос, какой бывает у стариков под вечер жизни. — Это была частная гимназия княжны Капронович, старой девы, «Птицы», как её называли гимназистки. Она действительно была похожа на птицу: физиономия вытянутая, узкая, нос — клювом, брови нависшие, взгляд строгий, а ещё — прекрасно одета, как и полагается директрисе, всегда с закрытым воротничком платья и с лорнеткой на шее.

Однажды было объявлено, что состоится вечер-бал с благотворительной целью. Ах, это ожидание бала! Молодые люди, знакомства, улыбки, переглядывания, пожатия рук украдкой... Встречать гостей поручили мне и ещё одной гимназистке: мы стояли у входа и входящим прикалывали к одежде прелестные крошечные букетики цветов, а гости расплачивались ассигнациями, зная, что деньги пойдут в пользу какого-то приюта. Затем гимназистки давали концерт, и я должна была танцевать с девочками «венгерку». Ну а уж потом — танцы, танцы!..

Вдруг подружка, Оля Копецкая, подбегает и шепчет:

— Порпура пришёл!

А в этого Порпуру, молодого судью, я была влюблена, всё о нём разузнала, писала ему письма и подписывалась так: «Незабудка».

Как сейчас помню: «Вы появились на моём пути, как метеор на нашем небосклоне! Открыть своего имени я не могу, так как знаю, что вы встречаетесь с красивой женщиной, а я обыкновенная девушка, не блещу красотой, но забыть вас не могу...»

Он отвечал мне на почтовый ящик, просил назвать себя; писал, что с женщиной той больше не встречается, что очарован моими письмами, ему кажется: у меня красивая душа и, наверное, вся я

красива. В одном из последних писем была просьба встретиться на бульваре возле аптеки. Я ответила, что приду.

Боже мой, что это было за время! Если бы только молодость вернулась опять...

Я отправилась на свидание с подругами, которые знали о моей тайне. Был чудный воскресный день, в сквере у городской управы духовой оркестр играл вальс, и чарующие звуки музыки разносились по городу. Я надела лучшее платье, чтобы выглядеть взрослой дамой, а не какой-нибудь гимназисткой, и всё равно душа от волнения была не на месте. Битый час мы ходили по тротуару, а он прогуливался по бульвару между цветущих лип и всё оглядывался по сторонам и возвращался к аптеке: ждал свою Незабудку. Но я так и не отважилась подойти — опасалась, что вместо молодой, красивой дамы мой избранник распознает гимназистку и поднимет меня на смех. И, кроме того, мне больше хотелось в те годы таинственности, писать письма, напускать туману, а не знакомиться. Глупа была, прости Господи, наивна!

И вот я прикалываю цветы на лацкан пиджака моего любезного, но руки меня не слушаются. Я пробую ещё раз, с полными слёз глазами, — но букетик выскальзывает и едва не падает на пол.

Порпура с удивлением посмотрел на меня, помог приколоть цветы, расплатился и... ушёл в зал.

Тут ко мне подходит Птица и говорит: — Войтенко, идите за мной! — Ведёт в свою комнату, запирает двери, наставляет лорнетку и давай отчитывать: — Это непозволительно — являться в гимназию с такой причёской! Кто вас завивал? Вы гимназистка, а не кокотка, мадмуазель Войтенко!

Я лепечу, что волосы у меня от природы вьются, но Птица и слышать не хочет: «Знаю я вашу природу!» — подводит меня к крану и мочит мои волосы, которые тётя Маня так старательно завивала мне перед балом.

— Теперь можете продавать цветы дальше.

Я думала тогда, что умру...

Не помню, каков был концерт и как я станцевала «венгерку». Знаю только, что со сцены мне очень хотелось посмотреть в зал: здесь ли он, видит ли меня? — но я даже глаз поднять на него не смела.

Но вот концерт окончен, убрали кресла — и объявили танцы. Гимназистки сбились в один угол, а гости степенно ходили по коридорам, по классам, были в зале. Девочки мне шепчут: а что если Порпура пригласит меня на тур вальса?

— Нет, не пригласит, — говорю, а у самой сердце обмирает от ожидания и надежды. — Ведь он встречается с такой красивой женщиной, а что я? Гимназистка в форменном платье, с едва просохшими волосами...

Вдруг оркестр заиграл «На сопках Манчжурии». Сердце у меня как подпрыгнет, как разбежится! И голова закружилась, закружилась... Чтобы не упасть, я прислонилась к колонне, боюсь смотреть в зал, а сама шепчу: «Только бы подошёл, только бы подошёл!..»

А он и в самом деле идёт — как шёл к Наташе Ростовой на балу князь Болконский. Такой же невысокий, коротко стриженный, светловолосый и, кажется, близорукий, — по крайней мере, как-то небрежно щурится на окружающих, точно ощущает над ними своё превосходство. И вот он подходит, молча кланяется, а мне кажется — он даже не смотрит на меня. Ах, если бы можно было убежать!.. Но через мгновение мы уже кружимся по залу, и я ощущаю на себе его руки, подчиняюсь его движениям — такт в такт, а глаз всё не вижу. Неужели неинтересна ему? Зачем на меня не смотрит? Или случайно подвернулась ему для тура этого роскошного, этого губительного вальса? Изюм всех сил я сжимаю веки, чтобы не заплакать. Через какое-то мгновение открываю: вальс закончился, мы стоим посреди зала, и он внимательно и как-то удивлённо на меня смотрит, а глаза-то у него светло-серые, почти голубые, и смотрит он так умно и участливо, так...

Ах, ты не понимаешь! Тогда, в дни моей молодости, была музыка жеста и взгляда, — не то, что в ваши оглашенные времена. Столько было нюансов, тонкостей, иносказаний: можно было обо всем поведать, ничего не называя, всё ощутить, не касаясь друг друга. Любовь была разлита повсюду: в дыхании, во взгляде, в опущенных ресницах, в движении рук и губ. И сейчас вспоминаю, а сердце бьётся! Первая любовь — не любовь вовсе, а как бы весеннее пробуждение ото сна, и потому остаётся в душе навсегда.

Больше он меня не приглашал, танцевал мало, а вскоре незаметно ушёл. Потом, через какое-то время, надолго уехал из города, и, казалось, исчез из моей жизни навсегда.

Прошло несколько лет, я уже была замужем. Как-то мой брат Володя, который приехал на лето из Петрограда, пригласил нас с сестрой на танцы в бывшем дворянском клубе, что был тогда напротив городской управы. Муж простудился, и я отправилась в дворянский клуб без него.

И вот сквозь звуки оркестра слышу знакомый голос:

— Войтенко, и ты здесь?

Оглядываюсь — Порпура обнимается с моим братом как с давним знакомым! Ты не поверишь — ноги у меня, замужней женщины, онемели, шага ступить не могу. Мне бы укрыться где-нибудь за портьерой, да поздно: брат подводит Порпуру и представляет нам. Тот кланяется, а Володя указывает на нас с сестрой:

— Это Мария, старшая, уже мадам, — и я подаю Порпуре ледяную руку. — А это — младшая, Аня.

И тут, точно наваждение, — снова знакомые звуки вальса, снова «На сопках Манчжурии»! Володя танцует с Аней, а Порпура приглашает меня. Вижу, он всё присматривается ко мне, как будто что-то вспоминает, и наконец спрашивает:

— Мне кажется, я танцевал с вами тогда, на вечере в гимназии?

— Да, было такое. Правда, много воды уже утекло, многое изменилось, — отвечаю, а голоса-то у меня нет.

Вдруг он спрашивает: эта роза, приколотая к груди, ваш любимый цветок?

— Нет. Мой любимый цветок — незабудка.

— Незабудка? С этим цветком у меня связано много хорошего, но и печального. Несколько лет назад я переписывался с девушкой, которая назвалась «Незабудкой», хотел познакомиться с ней, просил об этом, но она не пришла на свидание. Вскоре я принужден был уехать, пробыл несколько лет в отсутствии. И вот теперь получил назначение в другой город, прибыл за вещами и чтобы кое с кем попрощаться, а ещё думал: вдруг что-нибудь узнаю о ней.

— Незабудка — это я, — говорю, едва сдерживая слезы. — Теперь я уже замужем и могу вам сознаться в этом.

Я увидела, как вытянулось его лицо, глаза вдруг стали несчастными, но и тёплыми, и глубокими. Он молчал какое-то время, как бы обдумывая нечто важное для себя, потом тихо спросил: не поздно ли ещё?.. Не поздно ли?..

Всё, мой милый, я устала и хочу спать. Что тут можно прибавить? Первая любовь, как правило, заканчивается именно так. Это как первое весеннее тепло, которое всегда хрупко и мимолётно...»

Я закрыл глаза и представил себе дворянский клуб, звуки вальса, танцующие беспечные пары — так живо представил, как будто бывал в этом клубе сам. Вот только молодых печальных лиц, прощающихся с первой любовью, за толщей времени разглядеть не смог.

Тогда я снова раскрыл альбом с фотографиями — толстый, зелёного бархата альбом начала прошлого века с фигурной застёжкой из тусклой меди, — и стал листать страницу за страницей. Вот она — в кресле, с распущенными, до крестца, волосами, вполоборота к объективу; вот — в свадебном платье, и рядом с нею — статный военный с красивым породистым лицом, мой дед; вот она — с сестрой и братом, в гимназической форме; а вот вложенное между страницами свидетельство об окончании гимназии Марией Войтенко...

Трогательный и печальный свет издалека, жизнь, которая ушла без остатка. Если бы не память, если бы не странное ощущение, что из этой большой, тёмной, таинственной комнаты прошлого ты только вчера вышел, — что осталось бы нам, не помнящим истории своего рода, чужающимся родства, не ведающим самой себя? Принцип чистого листа? Пустота за

спиной? Напрасность всего, ради чего мы существуем на свете?

Порой в странных снах, больше похожих на обрывки потерявшейся в прошлом памяти, я брожу по улицам того города, в котором жила она и которого больше не существует, ощущаю запахи тёплой пыли на мостовой, цветущей акации вдоль молодого бульвара, — и в эти мгновения точно знаю, что уже жил когда-то другой жизнью. Может быть, даже — в те незапамятные времена, когда она была молода и училась в гимназии мадам Капронович, любила судью Порпуру и подписывала письма к нему по названию цветка — Незабудка. Но когда просыпаюсь, приходят иные мысли, и я говорю себе: нет, это генетическая память бередит во мне прошлое, и пока эта память существует — буду существовать в вечности и бессмертный я.

И тогда мне становится тепло и спокойно, потому что я знаю: ничто в жизни не исчезает бесследно. Как не исчезла бесследно она, как не исчез во мраке прошлого тот далёкий июньский день 1916-го года, когда она получила почтовую открытку и, с улыбкой припоминая и радуясь жизни, читала обращённые к ней строки: «Славная и добрая Мария Ивановна! Живу в Москве и, несмотря на массу развлечений, какие может дать большой город, скучаю. С удовольствием вспоминаю нашу поездку за васильками. Как проводите время и как себя чувствуете, часто ли бываете за городом и дышите дивным воздухом полей? Крепко жму и целую Вашу маленькую лапку, преданный и уважающий Вас...»